

ЛЕОНИД БЕЖИН

ГРОТ, ИЛИ МЯТЕЖНЫЙ МОТОГОН



Городская проза

Леонид Бежин

Грот, или Мятежный мотогон

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бежин Л. Е.

Грот, или Мятежный мотогон / Л. Е. Бежин — «Издательство АСТ», 2020 — (Городская проза)

ISBN 978-5-17-133337-9

Девяностые годы. В маленький городок на Оке возвращаются из заключения бывшие прихожане отца Вассиана, взятые им на поруки, – Вялый и Камнерез. В этот же день из Петербурга приезжает главный герой романа Евгений Филиппович Прохоров, философ и богослов, сторонник эзотерического христианства, призывающий к новому прочтению Библии и постижению ее тайного языка. Этим четверым по ходу действия суждено столкнуться в смертельной схватке...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-133337-9

© Бежин Л. Е., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

Часть первая	7
Глава первая	7
Глава вторая	9
Глава третья	11
Глава четвертая	13
Глава пятая	15
Глава шестая	18
Глава седьмая	21
Глава восьмая	24
Глава девятая	27
Глава десятая	29
Глава одиннадцатая	31
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Леонид Бежин

Грот, или Мятежный мотогон

© Текст. Леонид Бежин, 2020

© Оформление ООО «Издательство АСТ»

* * *

Памяти Евгения Сергеевича Полякова

Жестокое, тупое, зверское убийство в Бобылеве потрясло не только сам городок – один из многих маленьких, дремотных, зачарованно-тихих городков, опрокинувшихся отражениями на зеркальную гладь Оки, но и всю округу вплоть до Серпухова. Гром прогремел и отозвался дальними, глухими раскатами. В соседних с Бобылевым деревеньках, да и в самом Серпухове, на всех углах перешептывались, крестились, ужасались содеянному. Убитого, как водится, жалели, прочили ему Царство Небесное, но кто он и откуда, даже как его звать, точно сказать не могли. По словам одних, тутошний, здешний, другие же уверяли, что приезжий, из Москвы, из Ярославля, из Саратова. Кто-то надсадно кричал – доказывал, что из Вологды.

Далась же ему эта Вологда – именно потому, что далекая, вона где...

Впрочем, духовенство что-то знало и предпочитало молчать, не распространяться, попусту не множить слухи. Хотя похоже, что предпочитало жалеючи, со скорбными лицами. Все-таки смерть того заслуживает, а там кто разберет, кому случившееся в скорбь, а кому в тайную радость.

Панихиду по убитому не служили – ни на третий, ни на девятый, ни на сороковой день; не объясняя причин, воздерживались, уклонялись...

За девяностые годы к убийствам в народе привыкли. Не удивлялись, когда убивали богатеньких – тех, что выперли, как грибы из-под лесного наста, или местная братва во время разборок рядами укладывала соперников, чтобы их затем с завыванием духового оркестра, венками и почестями хоронили в массивных лакированных гробах, окутанных дымом кадильниц.

Но все отказывались верить, что перерезать горло (убитому, по рассказам, именно перерезали горло), в сущности, могли каждому, не замешанному ни в каких разборках, не имевшему несчастья баснословно разбогатеть, наголо обрить голову, обзавестись мерседесом с бронированными стеклами, охраной и «красным пальто до самых ног», как тогда говорили.

Нет, сия плачевная участь, оказывается, выпадала и прочим, имевшим «бедствующую и худую» руку, мусолившим последние рубли до зарплаты, как во времена нерушимого союза.

Впрочем, в оные времена – надо отдать им должное – зарплата еще была, исправно выплачивалась (за ней цепочкой стояли к окошечку). Но затем для многих ее не стало – уплыла, сгинула, – так что и мусолить оказалось нечего. И уж тем более не было повода брить голову, шить красное пальто – какое там! Носили все те же круглые очки (очечки) и бородку. Словом, на бухгалтерском языке (распространенном в девяностые), числились по правой колонке, по статье *крЕдит* или убыток, то бишь пополняли ряды нищей интеллигенции, пролетариев умственного труда.

Интеллигенцию же из автоматов не косили – кому она нужна, а тут ножом полоснули по горлу. Жуть!

Первым труп обнаружил полупомешанный нищеврод и дворомыга Гиви, ночевавший на берегу Оки, под перевернутой лодкой. Он завизжал от ужаса, куснул себя за палец и бросился к знакомому сторожу Клавдию (получил имя в честь римского императора) – поведать о слу-

чившемся. Тот самолично глазеть на труп не стал (мертвяков боялся) – напрямком в милицию: так, мол, и так... Доложил.

На место происшествия срочно выслали наряд на двух мотоциклах: сообщение подтвердилось. Из отделения тотчас позвонили в Серпухов, оповестили прямое начальство и прокуратуру, вызвали следователей. А там дошло и до Москвы...

Словом, закрутилось.

Дело расследовали долго, кропотливо, с дотошностью. Как-никак убийство, совершенное с особой жестокостью. Да и Москва на горизонте маячит: высоко сижу, далеко гляжу. Сначала взяли двоих – те почти и не отпирались, а затем нашелся третий подозреваемый, который сразу и сознался. Не без достоинства, надо сказать, с покаянным смирением, опущенной головой взял на себя вину. Во всяком случае, так рассказывают...

Словом, все было ясно – кроме причины. По какой причине, собственно, произошло убийство. Вернее, по мнению следователей, причины-то никакой и не было – во всяком случае, причины настолько весомой, чтобы из-за нее убивать. Хотя некоторые из опрошенных – образованная публика – утверждали, что причина была, и даже приводили как доказательство исторические, вековой давности примеры.

Это окончательно запутало и смазало дело. Его с трудом довели – доволокли, дотащили – до суда. Судебное заседание хоть и проходило не при закрытых дверях, но без наплыва журналистской братии и любопытствующих, с присутствием духовных лиц. Да и сознавшийся – третий – подозреваемый сам был лицом духовным, хотя и с богатым прошлым.

И, что совсем уже странно и даже дико, свидетели – те, что из образованной публики, – во время суда поговаривали о двойном убийстве – по Достоевскому. Это уж вовсе литература – если не в духе самого Федора Михайловича, то в духе девяностых, где на двойных, тройных, четверных убийствах все замешено.

Поэтому председательствующий на суде это обстоятельство к рассмотрению не принял. Не хватало еще, чтобы у нас в судах объявились свои Карамазовы, а вместе с ними и сам черт – этот известного сорта русский джентльмен – наследил, напачкал своим копытом...

Часть первая

Глава первая Отпускают на поруки

В самом начале апреля 199... года, когда до Благовещения оставалось три дня, отец Вассиан Григорьев получил конверт с письмом из прокуратуры. Он выпал ему на большие ладони с незаживающими рубцами и мозолями из синего почтового ящика (открывался снизу), прибитого к калитке.

Пролежал в нем два дня, отсырел и набух.

Отец Вассиан просушил его, приложив к изразцовой печке, отчего бумага запахла ванилью, и положил на стол обратным адресом – прокуратурой – вниз.

Осевший снег за окном грязновато серел и расползался, как свалывшееся солдатское одеяло. Кряжистый дуб возле храма (придел Святой Троицы закрыли из-за обрушившейся крыши и выбитых окон) посверкивал оттаявшим льдом в извилистых бороздках коры.

Ока посуровела, как Ярое Око. Она вздыбилась, выперла ребра толстых льдин, вскрылась, понемногу очистилась, и пустили паром – бороздить бескрайние просторы. Опять тот же паром, старый, допотопный (похожий на Ноев ковчег), разошедшийся, с осевшей кормой и колесами, шлепавшими по мутной воде лопастями.

Пока конверт лежал на столе, у отца Вассиана обозначилась чернота между сомкнутыми (стиснутыми от напряжения) губами – признак безотчетного тревожного надсада. Он отер ладонью щеки и лоб, словно желая согнать с них выступившую рябину. Взметнул рыжеватые треугольники бровей, изобразив лицом подобающую случаю значительность, смешанную с невольным страхом.

Крякнул, охнул и взялся за поясицу: аж стрельнуло.

Затем походил по комнате, потоптался, покружился на месте, как тетерев на току. Постоял у окна, глядя, как по Оке медленно, грузно, с черепашьей скоростью движется, шлепает лопастями по воде Ноев ковчег, осевший от тяжести груза и пассажиров (некоторые переправлялись на лодках: хоть и дороже, но быстрее).

Отец Вассиан истово, размашисто перекрестился перед иконами – что твой кряжистый дуб, раскинувший на ветру узловатые ветки. Поправил – выпрямил – свечку в подсвечнике. Вытер налипший на пальцы воск о полу подрясника.

Сам распечатывать конверт не стал – остерегся. Руки, было, потянулись, но он их отдернул. Позвал жену, матушку Василису, стучавшую в соседней комнате на пишущей машинке (перепечатывала его недавно законченные «Заметки о вере»).

– Выдь-ка на минутку. После достучишь. Глянь-ка, что пишут. Прочти мне.

– Обожди, хоть страницу закончу.

– Какая ж страница?

– Та, где о Троице.

– А, эта важная. Святое дело. Достучи.

Отец Вассиан сел, чтобы не стоять, не маячить перед окном (среди соседей находились любители в окна заглядывать). Но как-то было невмоготу, и он встал, чтобы не сидеть.

– Все, что ли? – спросил жену с нетерпением.

– Экий ты. Вот из-за тебя ошибку ляпнула.

– После забелишь. Прочти. – Отец Вассиан уже достал ножницы из шкатулки (с нитками и иголками), чтобы вскрыть – взрезать по краешку – конверт.

– А сам что?

– А то, что оробел. Замешкался, гмыря.

– Ну-тка! С чего бы?

– Так прокуратура ж...

– А-а-а. Добрались до тебя. Дознались о твоей дружбе с братками-уголовничками. У тебя полприхода с судимостями. – Матушка Василиса вошла в настроение, в настроении же не прочь была и пошутить. – Вот прокурор-то тебе соли под зад всыплет для вразумления.

– Не шуткуй. По частям тела особливо не прохаживайся. Имей почтение к сану. – Отец Вассиан помолчал с таким видом, словно ему было что добавить к сказанному. – «Нынче будешь со Мной в раю». Кому сказано? Разбойнику сказано. Да я и сам по молодости зоны нанюхался. Читай письмо.

Матушка Василиса, слегка засуетившись оттого, что ее попрекнули (надеялась усердной перепечаткой рукописи снискать себе безупречную репутацию), торопливо вскрыла ножницами конверт. Она сгребла со стола в руку клочки бумаги, спрятала в карман фартука и стала про себя читать, перебегая глазами от строчки к строчке.

– Ну, что там? – Отец Вассиан не вытерпел, меж тонких губ вновь пролегла извилистая чернота.

– Пишут, что отпускают твоих-то. Вялого и Камнереза. Тебе на поруки, как ты и просил. А то тебе хлопот без них мало.

Отец Вассиан не то чтобы не поверил, но все же немного усомнился. Поэтому взял у жены письмо и сам прочел.

– Отпускают. Чудеса.

– Да не чудеса, а власть к церкви теперь помягчела. Усовестилась. На уступки пошла. А то ты не знаешь. Меня вон бабы у колодца, как с праздником, поздравляют. Говорят, что к прежнему охальники уже не вертанутся, что теперь заживем. Все, что порушили, восстановим, заново освятим. Придел Святой Троицы отремонтируем, служить начнем. – После попрека она старалась подольститься к мужу.

– На какие шиши отремонтируем? Патриархия ни копейки не даст. Только последнее заберет. На пожертвования? Тут мне, правда, пообещали... – Он не стал распространяться, чтоб не сглазить, прикусил язык.

– Смотря кто жертвует. – Матушка искоса на него посмотрела. – Да и ты, отец, знал, на что шел, когда тебя рукополагали. Из сержантов-то.

– Нечего было выходить за сержанта.

– Да уж такой сержант, что не могла не выйти. – Она любовно, с томной усладой вздохнула, и круглое лицо ее слегка зарозовело и расплылось.

– Ладно, прочти о сроках. Когда они вернуться, эти двое? Когда их ждать? Только бы не на Благовещение и не на Страстную, чтобы часом не согрешить. А то птица гнезда не вьет, мы же как на грех осуетимся со встречей-то, оскоромимся.

– Нечем оскоромиться. На полке пусто. Одни только зубы твои и мои – те, что мы с началом поста туда положили.

– Зубы на полку? Это по-нашему. Ты это хорошо сказала.

– Сказала-то хорошо, да жить от этого не легче. Ты б хоть какую-нибудь подмогу завел, учудил коммерцию... Сейчас только ленивый не коммерсант.

– Товарный вагон на миллион тебе украсть? Нет, с коммерцией жить, может быть, и легче, но душе труднее. Тяготит она душу, коммерция...

– Чаю, не коммерция, а другое тяготит тебе душу, – тихо сказала матушка Василиса, пользуясь тем, что он ее уже не слушал, а потому и не мог услышать.

Глава вторая

Послание к галатам

Отец Вассиан раз пять перечитал письмо из прокуратуры, повертел в руках, даже зачем-то посмотрел на свет, словно там могли быть водяные знаки или тайные шифры.

Но на письме водяных знаков не было: они проступили у него в голове, и с такой отчетливостью, что он сразу сел писать записку – писать так же размашисто, как и крестился. И лишь только сел, матушка Василиса неслышно встала у него за спиной, заставляя себя не смотреть и искоса все же бросая цепкие взгляды на бумагу.

– И к кому ж сие послание? – спросила она, поджимая пухлые губы и с показным безразличием возводя глаза к потолку.

– К Галатам. – Отец Вассиан как заслон от ее любопытства выставил адресатов послания, но не своего, а апостола Павла.

– И что ж ты этим Галатам сообщаем?

– А то... – исчерпывающе ответил он на ее вопрос. – Не засти мне свет. Не маячь.

– Я тебе и лампу могу включить, электричества не пожалею, коли ты этих Галатов так любишь и жалуешь.

– Я всех люблю. И больше всего тебя и наших детей.

– Твои дети – пули и картечи, сержант. Еще по Афганистану. А я, дура, у тебя, как пушка заряжена. Не любишь ты меня.

– Ну вот... – сказал он, не переставая писать. Наконец закончил, перечитал и поставил точку. – Ну вот и раскисла попадья. Поползла, как тесто из квашни. Кого ж я люблю, по-твоему?

– Твоих Галатов. Вернее, одну особу из них, галатянку...

Отец Вассиан аж рассмеялся, удивляясь тому, что только людям на ум не взбредет.

– Любаву-то? Любу Прохорову?

– А то кого ж...

– Я ей пишу, чтобы предупредить. Муженек-то ее – Вялый Серега – возвращается. Так ей схорониться надо... хотя б на время. Пока он не остынет. А то беды не оберешься. Вялый-то хоть и тихий, да ревнивый...

– Думаешь, он знает?

– Конечно, знает. Нет сомнения. Дружки ему по доброте своей в зону написали. В красках изобразили... Он отомстит.

Матушка Василиса поймала его на нужном ей слове.

– А ты, отец, разве не мстишь? – спросила она после сосредоточенного молчания и – сказанного не воротишь – пугливо закрыла ладонью рот.

Отец Вассиан посмотрел на жену пристально и с откровенным изумлением, какого давно не испытывал (и уж стал даже забывать, что это такое).

– Ты что это сказала? Кому это я, по-твоему, мщу?

Тут матушка Василиса посчитала ниже своего достоинства промолчать и – раз уж начала – не выговориться до конца.

– А кому ж, как не ей, Любаве твоей ненаглядной.

– Любаве... – Отец Вассиан обозначил этим именем нечто, имевшее настолько разный смысл для нее и для него, что он не знал, как к этому подступиться. – Вот так фокус. За что же мне ей мстить?

– Не беспокойся. Есть за что.

– Это тебе, мать, надо беспокоиться за ту напраслину, что ты на меня возводишь.

– Ладно, скажу. А за то... за то, что она к Витольду Адамовичу, полячишке этому, от тебя переметнулась. Была тебе духовная дочь, ему же стала невенчанная жена, братцу же его Казимиру, близнецу, друг и утешитель.

– Утешитель у нас один – Святой Дух. А ты по части напраслины далеко ушла. Ох, как далеко!

– Напраслины? А ты сверь-ка по датам. Седьмого сентября она ушла, а восьмого ты написал прошение в прокуратуру. – Она показала семь пальцев, а затем добавила к ним восьмой, самый обличающий.

– Разве восьмого? Что-то я уж и не припомню...

– Восьмого, восьмого, отец. Уж я-то запомнила. Сама на почту носила.

– Ну и что? Простое совпадение. – Отец Вассиан отодвинул свой стул от стола и откинулся всем своим большим, грузным телом на спинку – так, что стул пошатнулся и протяжно скрипнул.

Она зачастила скороговоркой под этот скрип:

– Не совпадение, а ты Вялого для того и вызвал, чтобы тот, как муж, ее вернул и проучил. Хоть бы избил до полусмерти, но умело, без синяков. Разве это не месть?

– Нет здесь никакой связи. Да и не Вялый он, а Сергей Харлампович Прохоров, наш прихожанин. А то взяли моду тюремными кличками друг друга окликать.

– Знаю, что Сергей. В паспорте записан Харламповичем, а на самом деле Ахметович.

– И по фамилии – Хамидулин, хотя сменил ее на фамилию жены.

– Выходит, что татарин. – Матушка вздохнула в знак того, что всех готова любить и жалеть – и татар, и русских.

– По матери-то русский – оттого и Сергей.

– Все равно татарская кровь сильнее.

– Да хоть бы эфиопская. А скажи в таком разе, зачем мне дружок его Камнерез понадобился? – Отец Вассиан снова придвинулся – вместе с шатким, скрипучим стулом – к столу.

Матушка Василиса хотела тотчас ответить, но впопыхах запнулась, а уж когда ответила, то самой показалось зряшным и ненужным на что-то отвечать.

– Зачем, зачем. Так, заодно... И не Камнерез он, а Леха Беркутов, киномеханик при клубе и звонарь у тебя на колокольне. И оба – твои верные опричники.

– Ты, мать, словами-то не шибко бросайся...

– Ну, не опричники, так порученцы, – поправила матушка, но с таким видом, будто оба слова означали ровнехонько одно и то же.

Глава третья

Деликатного свойства

Выглянуло – выпросталось из-за сизого облака – солнце. Едва позолотило двор и спряталось – вновь потянуло прохладой. Застучал по карнизам дождик и тотчас обратился в бесшумный крупитчатый снег. На часах пробило полдень, и радио в подтверждение пропикало двенадцать раз.

С того берега на пароме вернулась дочь Санька, рыжая и веснушчатая. Она с утра побывала у подруги: вместе готовили билеты к выпускным экзаменам, а как надоест, зевали во весь рот, от скуки толкались, щипались и дрались подушками.

На крыльце она скинула забрызганные грязью сапоги и сдернула с головы беретку, трянув головой, чтобы сами собой – без расчески – улеглись волосы. На иконы, конечно, не перекрестилась, как ее ни воспитывай твердолобую. Опять не придержала дверь террасы – так хлопнула, что стекла в переплетах задрожали и звякнули.

Отец Вассиан, хоть и не любил шума и резких звуков, но стерпел, не стал выговаривать дочери: просьба к ней была, и весьма деликатного свойства, требовавшая соблюдения конспирации и маскировки. Особенно – по отношению к матушке Василисе, усердной дознавательнице, кто, кого, о чем попросил, кто, куда и зачем пошел.

Поэтому отец Вассиан лишь спросил у дочери:

– Как на улице?

Санька картинно содрогнулась – изобразила брезгливую оторопь мерзлячки перед промозглой погодой.

– Брр!

Отец Вассиан не оценил ее актерских достижений.

– Мать во дворе или вышла куда?

– Во дворе поросенка кормит.

– А может, вышла? – Отец Вассиан что-то не помнил, чтобы мать собиралась кормить поросенка в это время.

– Может... – Саньку явно заботило что-то другое, не имевшее отношения к тому, о чем спрашивал отец.

– Ты что ж, не заметила? Глаза-то есть?

– Я билеты про себя повторяла. По сторонам не смотрела. Поесть мне не оставили?

– В кастрюльке там, на кухне... – Отец Вассиан не старался обнадежить дочь тем, что в кастрюльке она найдет что-либо вкусное.

Санька все мигом поняла и скривилась.

– Опять свекольные котлеты? Видеть их не могу.

– А Великий пост не по тебе? Скоро Страстная...

– У вас пост, а у меня экзамен. Билеты зубрить надо. Где силов-то взять?

– До Пасхи осталось всего ничего. Святому Духу молись. Вот силов-то и прибавится.

– Молилась, а есть хочется. В животе урчит от голода – кошачьи концерты. Котлет бы мать накрутила... Или дай мне денег на ресторан.

– Что-что?

– Наш ресторан днем как столовая работает.

– Размечталась. Что ж тебя подружка не угостила?

– У нее самой одна капуста да свекла. Еще помидоры маринованные в банке.

– Самая еда для поста... Ладно, дам тебе на ресторан. – Отец Вассиан подобрел, умягчился голосом. – Только выполни одну просьбу. Уважь.

– Опять на колокольне звонить?

- Записку отнести к одной особе.
- Полине Ипполитовне?
- Почему это ты решила?
- Она же у тебя в особах ходит.
- Она-то ходит, но я к ней больше не хожу. Она в пост всех пирожными угощает, да и вообще... салон. Нет, отнеси Прохоровой Любе. Только матери на глаза не попадайся.
- Какая ж твоя Люба особа!
- Не придирайся. Об особе я так, от запальчивости... Мы тут с матерью о ней балакали. Немного повздорили. Особой-то мать ее назвала. Ты адрес ее знаешь?
- Так она у братьев-близнецов живет, за кирпичным заводом. Казимир Адамович у нас теперь в школе преподает. Математику. Он говорит, что Бога нет, а есть теория вероятностей и математическая статистика.
- Значит, будет в аду раскаленные сковороды лизать. Своим лживым языком. У чертей своя статистика.
- Санька по-своему истолковала его адские посулы. Она притихла, помолчала и якобы безучастно спросила:
 - А ты мог бы за веру убить?
 - Как убить?
 - В Афгане же ты душманов этих убивал. А они – мусульмане.
 - Скажешь тоже: в Афгане... Там война была. И нас убивали. Глаза выкалывали. Уши, носы и кое-то другое отрезали.
 - А Казимира нашего мог бы?
 - Убить-то? Нет... – Отец Вассиан развел руками в знак полнейшей неспособности к подобным действиям.
 - Жалко его. – Санька всхлипнула и часто заморгала. – Он добрый. Помолись, чтобы его там на небе простили.
 - Молюсь. За всех молюсь. Это я так... стращаю. Вера-то не каждому дается.
 - Ну, я пошла... – Санька смахнула слезинки и, слегка приподнявшись на цыпочки, поцеловала отца в висок.
 - С Богом. – Отец Вассиан протянул ей сложенную вчетверо записку. – К братьям-близнецам и неси. А на обратном пути все-таки загляни к Полине Ипполитовне. Скажи, что я в среду у нее не буду. Страстная... нехорошо.
 - Скажу, – пообещала Санька. – А Полина Ипполитовна мне на это что-нибудь свое скажет. Она же – особа... И к тому же ндравная, как о ней все говорят.
 - Говорят, а ты не говори. Не повторяй. – Отец Вассиан что-то внушительное прибавил к этим словам глазами. – Скажешь, значит, осудишь.
 - Я вообще молчу. – Санька считала это лучшим ответом на пожелание сказать одно и не говорить другого. – Я, как моя старшая сестра Павла, молчальница, безответная. В детском доме гроши получает и все терпит. С нее беру пример.
 - Молчальница. Хоть бы в церковь разок зашла, а то этак и промолчит всю жизнь. – Отец Вассиан, отвлекшись на что-то, не уловил, сказал он это или только подумал. Поэтому на всякий случай повторил: – Хотя бы разок... в церковь-то. А то ведь ни разу..

Глава четвертая Рыжий русский поп

Санька (хоть и жалостливая, но свистуха, рыжая бестия) накинула пальто, нацепила беретку – так, что казалось, будто она чудом держится на одном ухе. Затем стала натягивать сапоги, попрыгала на одной ноге (сбившийся шерстяной носок мешал как следует просунуть ногу) и убежала.

Отец Вассиан, проводив ее долгим взглядом, посмотрел на часы и прикинул, скоро ли свистуха вернется. Если нигде особо не задерживаться и с подружками не пустословить – не балясничать, – должна за полчаса обернуться. Или минут за сорок.

Чтобы время быстрее прошло, занялся наведением порядка. Он спрятал письмо в шка-тулку для документов – на самое дно, под паспорта, диплом и воинский билет. Вращая черный валик, осторожно вынул переложенные копиркой и заправленные в пишущую машинку листы. Накрыв машинку крышкой, чтобы зря не пылилась.

Выключил радио, бубнившее одно и то же. Открыл Псалтырь на том месте, где лежала закладка – его фотография на привале, у ручья, вместе с афганской братвой.

Бравый вояка – каска набекрень. Серьга в ухе, вздернутый нос. Из-под каски выбился рыжий чуб. Таким был до осколочного ранения и ожога (до черноты опалило подбородок и нижнюю губу), чуть не лишивших его жизни.

А сейчас вместо вояки – рыжий русский поп. Подрясник и крест на животе. Или все-таки, хоть и поп, а вояка?

Спрятал фотографию и стал читать Псалтырь (всегда успокаивало) – по несколько раз одну и ту же строчку, поскольку мысли где-то витали и смысл ускользал.

Через полчаса с минутами вернулась дочь, что-то насвистывая (мальчишеские замашки). Включила радио (не выносила тишины).

Отец Вассиан строго спросил:

– Передала?

– Угу. – Уже успела что-то сунуть в рот. Прожевала, проглотила и выговорила более внятно: – Передала, передала.

– В руки?

– В ноги, – огрызнулась Санька, не любившая дотошных расспросов.

– Как с отцом разговариваешь! И что Люба? При тебе прочла?

– Да, сразу, при мне.

– И что сказала?

– Сначала ничего не сказала. Охнула, побледнела и взялась за сердце. Записку порвала. – Санька отвечала, как на экзамене, старалась ничего не упустить. – Села, свесила голову, сложила руки на коленях. Мол, что ж теперь делать? А затем сказала про брата своего Евгения – того, что в Питере. Мол, напишет ему или позвонит с почты по междугороднему.

– Зачем?

– Чтобы приехал ее утешать и спасать.

– Евгений-то? Тю... Да я его еще босым и голопузым помню, как он по улицам бегал, пыль пятками вышибал, Евгений-то этот. Теперь же он – гляди-ка – спасатель.

– Сам на него гляди.

– Ладно, погляжу, как приедет. Слыхал, он учености набрался. Богослов! Догматику и апологетику изучает. Вот и проверим, какой он богослов. Ты записку сама-то прочла?

– Ну, конечно. Само собой...

– Все поняла? До всего дозналась?

– А то! Я этого Вялого как огня боюсь. Он нашей химичке, помню, ножом угрожал из-за того, что она в клубе танцевать с ним отказывалась. Зачем ты ему срок скостил, на волю выгацил? Сидел бы там и сидел.

– А ты разве не знаешь, что и меня когда-то добрые люди взяли на поруки и от тюрьмы избавили? Я ведь по глупости, по недомыслию угодил. Я им по гроб благодарен буду. И на мне теперь, как ни крути, долг – тот, что платежом красен. Я теперь должен за кого-то ручаться, разве нет? К тому же Вялый-то – он ведь в Бога верует. И в Афганистане со мной служил. А это свято.

Саньку эти слова как будто убедили, хотя и не до конца: в мыслях осталось сомнение.

– А ты с ним совладать-то сможешь, если он Любу начнет бить?

– Так жена его... Бывает, муж и побьет.

– А-а-а. Жена. Значит, не сможешь. Вялый сам тебя по рукам свяжет. Вот тебе и поруки. Не зря она на брата надеется.

Отец Вассиан насутился оттого, что ему нечего возразить. Между губ зачернелся давний ожог. Решил разговор со свистухой свернуть, перевести на другое.

– Брат ей не поможет. Пусть у старца нашего Брунькина для начала укроется. Тот приютит. Я ей об этом скажу. А к Полине Ипполитовне заглянула? И что она?

– Сказала, что в среду ты обещал почитать из своих записок. Всем уже разосланы приглашения. Придется тебе быть...

– Нет, на Страстной не могу. Еще раз забеги и скажи ей. Пусть перенесет на Пасхальную. – Отец Вассиан достал из подрысника, помял в кулаке и стыдливо протянул дочери деньги на ресторан.

– Здесь не хватит. – Санька плаксиво сморщила веснушчатый нос, насупила треугольнички бровей – такие же, как у отца.

– Хватит, хватит. – Отец Вассиан добавил немного мелочи. – Только рыбу возьми. Мясо – не смей.

– Мясо от дьявола?

– Во время поста – от дьявола.

– А помнишь, я в детстве глупенькой была, совсем дурочкой и тебя спрашивала: «А козявки в носу отчего бывают? От дьявола?» А ты мне отвечал: «От дьявола».

– Ты хоть и выросла, а у тебя в мыслях – те же козявки. Ну, беги, свистуха, – сказал он и снова выключил радио – повернул до упора ребристую ручку.

Глава пятая

Пугач

В ресторане Санька расположилась за столиком у окна, чтобы есть и поглядывать. Просто есть (особенно суп) ей всегда было скучно. Санька нуждалась в добавке, но не той, что подкладывают в тарелку, а той, что дает пищу жадно раскрытым глазам, утоляет не столько голод, сколько любопытство ко всему на свете, позволяет почувствовать, что она не только ест, но и живет.

Жить она была согласна даже впроголодь, даже тогда, когда урчит в животе (кошачьи концерты). Если же жизни не хватало, с унынием вспоминала о еде, но предпочитала отдаваться ей не дома, а в гостях или в ресторане, где было легче получить добавку – ту самую, ради поисков которой она сейчас и уселась у окна ресторана.

Но на этот раз добавка сама нашла ее – и какая! Причем нашла не где-нибудь за окном, а здесь, в ресторане. За несколько столиков от нее сидел школьный учитель математики, добрый, близорукий (подставлял к глазам лупу вместо очков), не верящий в Бога – Казимир Адамович Мицкевич.

Он, конечно, сразу заметил ее и махнул рукой, подзывая к себе. Санька аж вся зарделась от такой чести и мигом перебралась со своими мисками (в тарелках еду подавали только вечером) к нему за столик.

Когда Санька передавала Любе Прохоровой записку, Казимира Адамовича дома не было. Но ему, видно, потом сказали, и он знал о ее приходе. И о содержании записки тоже, конечно, знал, иначе бы не смотрел на нее так затравленно, встревоженно и безнадежно.

– Ну и новости ты нам принесла, Григорьева. Апокалипсис! Конец света! – При своем неверии Казимир Адамович любил ссылаться на Библию, как, впрочем, и на художественную литературу, которую знал не хуже математики, хотя ценил в ней не туманные и расплывчатые описания (красивости), а точные формулировки. – От таких новостей, знаешь ли, срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек.

Санька воспользовалась поводом ему польстить и его задобрить.

– Как вы хорошо сказали, Казимир Адамович! – Она сделала мечтательные глаза.

– Это не я, а Маяковский, дуреха. Из школьной программы, между прочим.

– Простите. – Санька не без жеманства опустила глаза: устыдилась.

– Бог простит.

Она подняла глаза, округлившиеся от удивления.

– Бога же нет, вы нас учили.

– Ну, кто-то же прощать должен... Ладно, Григорьева, о Боге после поговорим. Ты мне скажи, когда его ждать-то?..

– Конца света? – по наивности осведомилась Санька.

– Футы, господибожемой! Какого конца света! Этого Вялого, Вялого. Кстати, как его зовут-то по-человечески?

– Сергей Харлампович...

– ... этого Сергея... как бишь его? – Казимир Адамович отчества с первого раза не запомнил.

– Харламповича. Отец полагает, что уж на Пасху...

– Вот будет подарочек к празднику. Крашеное яичко. Несчастливая Люба сама не своя... Побежала брату в Питер звонить, чтобы приехал...

– Брат Евгений не поможет, – сказала Санька словами и голосом отца: так было авторитетнее. – У старца нашего надо укрыться.

– У Брунькина? А ты у него бывала?

– Я – нет, отец бывал.

– И где ж там укроешься?

– В скиту.

– А то Вялый с Камнерезом этот скит не найдут. Мигом разнохают и отыщут.

– Он заговоренный, скит-то. Не всякому открывается. Иной станет искать и в лесу заплутает или в болото ухнет, провалится. Утопнет.

– Ой, Григорьева. Горазда ты небылицы сочинять. Ты еще Китеж-град сюда приплети. Или Беловодье. А то уж вовсе замахнись на Шамбалу.

– На что замахнуться? – Санька то ли не расслышала, то ли не очень поняла.

Казимир Адамович счел безнадежным делом ей что-либо объяснять. Он зачерпнул ложкой борща, любуясь, как он стекает струйкой обратно в миску. Санька из подобострастия тоже зачерпнула и полюбовалась.

– Ладно, с Шамбалой проехали и забыли... У меня к тебе один вопрос.

– С придурью? – деловито осведомилась Санька, словно от наличия придури в вопросе зависело, под какую разновидность он подпадал.

Казимир Адамович аж охнул от такой дерзости.

– Ты что себе позволяешь, Григорьева! Я все-таки учитель. Когда это я придурился?

– Ой, простите, – спохватилась она, вспомнив, что собеседник не посвящен во все тонкости великого и могучего школьного языка. – Это на нашем жаргоне. С придурью – значит с прицепом.

– А прицеп что такое?

– Ну, нечто... вроде прикола.

– Так вот, Григорьева. – Казимир Адамович как бы подвел черту под числителем, чтобы вписать итоговый знаменатель. – Я тебя спрашиваю серьезно – без прицепа и прикола. У кого из наших старшекласников есть пугач? Я однажды видел, они в школу приносили. Совсем как настоящий. Чей он?

– Казимир Адамович... – Санька посмотрела на него с красноречивым упреком. – Я своих не выдаю. Я девушка с понятиями.

– Мне нужно. Мне очень нужно. – Казимир Адамович весь зашевелился, задвигался, завертелся на своем стуле, не зная, как донести до нее всю степень того, что он называл нужностью. – Я не просто так спрашиваю. Не беспокойся, к директору доносить не побегу.

– Правда?

– Господибожемой, клянусь. Я человек чести и обещаниями не бросаюсь. Во мне, между прочим, польская кровь. К тому же я потомок великого поэта.

– Маяковского?

– Темнота же ты, Григорьева. Мицкевича.

– А я думала, что вы однофамилец. Все в классе так думали.

– Ну, однофамилец, атам кто знает... Может, и потомок. Санька вернулась к заданному им вопросу.

– Это пугач Яна Ольшанского. Ему отец из Бельгии привез. У него же отец предприниматель. Между прочим, он обещал пожертвовать на ремонт придела Святой Троицы. Мне мой отец шепнул на ухо. Это пока секрет.

Но Казимиру Адамовичу до Троицы и связанных с ней секретов не было никакого дела.

– А не даст ли Ян на время свой пугач? Я верну, разумеется. Брат Витольд очень просил. Для самозащиты.

– От Вялого и Камнереза? Я спрошу у Яна, хотя мы не очень дружим. Ему такие, как я, девушки не очень нравятся. – Санька попыталась упомянуть о своем, надеясь, что учитель станет подробно расспрашивать и ей удастся поплакаться и посетовать на свою судьбу (в школе

она никому по большому счету не нравилась, а нравиться по малому счету считала ниже своего достоинства).

Но того заботило лишь одно и, видно, очень заботило, раз он ни о чем другом думать не мог.

– Спроси, спроси, Григорьева. Или пришли его ко мне в математический кабинет. Я сам с ним поговорю.

Санька разочарованно (никакой добавки к обеду!) пообещала:

– Попробую. Боюсь только, что не согласится. Он со своим пугачом не растается. Любимая игрушка. А еще ему отец к окончанию школы пообещал свой старый мессершмитт подарить.

– Какой еще мессершмитт?

– Ну, мерседес, мерседес, – произнесла Санька с таким отвращением, словно для полного счастья ей не хватало лишь всем соорудить злючую рожу, показать язык, а затем поехать на мессершмитте или полетать на мерседесе.

Глава шестая

Измучила

Отец Вассиан не допускал и мысли о том, что ему может нравиться – и даже очень (чертовски) нравиться – Люба Прохорова. Он убеждал себя, что у них совсем другие отношения, что Люба – усердная прихожанка, не пропускает ни одной службы, терпеливо выслушивает все проповеди и наставления, принимает из его рук причастие.

К тому же он ведет с ней долгие беседы на лавочке в церковном саду, под зарослями черемухи и рябины, посаженных его руками, отвечает на ее часто наивные, смешные, но всегда пытливые и вдумчивые вопросы, дает советы.

И она может считаться его ученицей, даже более того – духовной дочерью.

При этом он подчас ловил себя на том, что Люба очень уж хороша, и лицом, и гибким станом, и крупными, пунцовыми (словно запекшимися и надтреснутыми от горячего дыхания) губами, и пшеничного отлива косой, уложенной венком на голове. Высокая, с запавшими, резко очерченными глазницами, фиалковой дымкой огромных глаз, она особенно влекла и притягивала. Притягивала, морочила, даже бесила (прости господи) чем-то затаенно неправильным – преувеличенно красивым – в удлинённых чертах.

И что-то татарское было в разрезе глаз, резко очерченных скулах.

Шамаханская царица!

И, конечно же, ему нравилась – до бешенства, до мучительного стога, до зубовного скрипа.

Но мысли отец Вассиан все равно не допускал, поскольку чего уж там: он намного старше, ему далеко за сорок, женат уже столько лет, у него трое детей. Санька, младшая, слава богу, при нем; сын Аркадий служит дьяконом в дальнем приходе (его не рукополагают лишь потому, что заменить некем: слишком хорош дьякон). А старшая дочь Павла в интернате трудных подростков перевоспитывает...

Словом, подобная мысль унижала его в собственных глазах, а главное, роняла достоинство сана, опускала его, как новичка в тюремной камере (отец Вассиан за полтора года отсидки всего насмотрелся). Что это он, священник, иерей, себе позволяет! Этак еще и разговоры пойдут среди прихожан, толки, перешептывание в храме, на службе.

Да и матушка станет ревновать, поддаваться соблазну. Поэтому лучше уж без мысли: нравится немножко и все.

Так оно и продолжалось два с лишним года – до той поры, пока Люба не влюбилась. И не в него, грешного и окаянного, а в одного из братьев-близнецов – Витольда Мицкевича, а к нему примчалась исповедоваться. Все ему выложила, расписала в подробностях, как это с ней случилось (при живом-то муже).

Тут-то ему кровь в лицо бросилась, между сомкнутых губ зачернело.

И явилась отцу Вассиану крамольная мысль, что, оказывается, не просто нравится ему Люба, а влюблен он в нее – влюблен губительно, смертельно (вот когда ему открылась библейская «Песнь»), до удушья и мучительно ревнует к этому полячишке. И готов осудить, возненавидеть Любашу и все ей тут же простить, лишь бы она его тоже хотя бы немного любила.

...После вечерней службы сели они в церковном садике на лавочку, под черемухой и рябиной. Вдали серела между деревьев Ока, похожая на ползущий вдоль берегов мутный, проволглый дым от сырого костра. Под ногами дотаивал хрупкий ледок, смешанный с глиной.

Люба потуже завязала платок и натянула на колени юбку.

– Получила записку? Прочла?

– Прочла. Что ж теперь делать-то?

– Евгению своему в Ленинград-то уже позвонила?

– В Петербург...

– Для меня он по-прежнему Ленинград.

– Позвонила. Что могла, сказала. Об остальном напишу.

– Напиши, напиши. Ты длинные письма-то любишь строчить. Ну и как он – приедет тебя защищать, порядок наводить?

– Обещал на Пасху.

Отец Вассиан стал долбить каблуком большого сапога льдинку, стараясь искрошить ее в кашу.

– На брата особо-то не надейся. Уповай на Бога и на старца нашего Брунькина. Он – божий человек.

Люба смотрела прямо перед собой, словно заставляя себя не слышать сказанного им и при этом самой высказать то, что он наверняка не пожелает услышать.

– Отец Вассиан...

– Да, милая...

У нее резко обозначились татарские скулы.

– Вы меня простите ради бога... Не корите только.

– Говори, говори...

– Ведь вы нарочно моего мужа сюда из тюрьмы вызвали. Наказать меня хотели, а может, и отомстить мне.

Отец Вассиан тоже стал смотреть прямо перед собой.

– Ты сама до этого дошла? Или матушка Василиса тебе нашептала? Она большая любительница на меня всякую напраслину возводить.

– Простите... – Люба опустила голову.

– Ведь ты мне как дочь... За что же мстить-то?

– За то, что полюбила... Вы хотели, чтоб вас, а я вот – вопреки вам – другого.

– Что значит – я хотел? – Он осуждающе повел бровью. – Любовь с тобой крутить?

– Я ведь ваши томные и откровенные взгляды на себе ловила. И не раз.

– Врешь. Не было этого.

– Да чего уж там не было – было, – сказала Люба так просто, что у него отпало всякое желание ей возражать и оправдываться.

– Может, и так. Прости меня грешного. Ведь я лишь поп, а не праведник. Хорошо бы, конечно, если бы попы были праведниками, ведь когда-то предлагалось... Но где ж их столько возьмешь. На все приходы не напасешься. – Отец Вассиан нарочно отвернулся, чтобы не смотреть на Любу после того, как она уличила его в томных взглядах. – Ну, нравишься ты мне. Я же мужик, как ни крути, хотя и в рясе. Но разве я что-нибудь лишнее себе позволял?

Люба и хотела бы признать, что не позволял, да не смогла.

– А однажды, когда я заснула?..

– Ну, поцеловал тебя. Был грех. – Он по-прежнему от нее отворачивался.

– А когда больная лежала, а вы Псалтырь принесли мне читать, а сами стали коленку гладить?

– Не сдержался. Рука сама потянулась. Красивая ты. – Отец Вассиан повернулся к ней, чтобы эти слова подтвердить взглядом, каким бы он ни был откровенным.

– Красивый сосуд греха? – спросила она с нехорошей усмешкой.

– Из-му-чи-ла ты меня, – произнес он с каким-то странным горловым, булькающим голосом, похожим на сдавленное рыдание. – Вот как есть, так и говорю: измучила. Бьюсь о тебя, как одуревшая муха о стекло.

– Сами себя вы измучили.

– Сам – не сам. Молчала бы ты... Мне бы прогнать тебя с глаз долой, запретить появляться, всюду посты расставить, охранников, часовых, а я, дурак, не могу. Я ведь в Серпухов

ездил, к владыке Филофею. Умолял, чтобы меня перевели, услали в другой приход, спасли от наваждения бесовского. А они отказали. Велели терпеть и искушению не поддаваться. Сейчас приходы открываются, где им взять священников – не хватает.

– Меня и гнать не надо. Сама теперь уйду. – Люба хотела встать, было приподнялась, но передумала и снова села.

– А-а-а. Вот ты как повернула. Не нужен стал глупый поп. Замена ему нашлась. Только как ты их различаешь, близнецов-то? Она ведь как две капли воды друг на друга похожи.

– Уж знаю как... – Люба не стала распространяться про знание, принадлежавшее ей одной.

– Неужели так любишь своего Витольда? Ведь он не из красавцев... Гонору, правда, много. Польской спеси.

– Это не гонор.

– А что? След многолетнего страдания под игом деспотической России?

– Не будем об этом, а то поссоримся.

– А без ссоры у нас с тобой не получится. Нет уж, милая, не надейся. Буду с тобой ссориться. Я ведь поп-то скандальный. Недаром меня столько по приходам гоняли и в самую глушь упрятали.

– Значит, все-таки мстите, – произнесла Люба так, словно до этого еще сомневалась в его мести и лишь теперь до конца в ней уверилась.

– А ты как хотела. Мне отмщение, и аз воздам, как говорится. – Он широко расставил ноги в больших сапогах и накрыл колени ладонями.

– Для этого и Вялого вызвали вместе с Камнерезом. – Люба повторила сказанное раньше так, словно теперь в нем не оставалось ничего недосказанного.

– Не Вялого, а нашего Сергея... Сергея Харлампиевича.

– Ахметович он.

– Да пусть кто угодно, а муж твой законный. Я сам и венчал вас. Правда, оступился он, но полсрока отсидел, кое-что уразумел, кое-чему научился. Заживете с ним по-новому.

– Я к нему не вернусь. Уж лучше горло себе серпом... Вам тогда меня отпевать придется.

– Самоубийц не отпевают. Церковь не велит.

– А вы самовольно, со скандалом. Скандалить-то вы умеете, – сказала Люба так, словно после этого ничто не мешало ей встать со скамейки.

Глава седьмая

Вакуум

Встать-то отец Вассиан ей позволил, а вот уйти не дал.

– Подожди... Малость задержись-ка, Люба.

Она остановилась, не поворачиваясь, стоя спиной к нему и ничего не произнося в ожидании того, что он ей скажет.

– Не за тем я вызвал твоего мужа, чтобы мстить или наказывать тебя. Не за тем. Я сейчас тебе все растолкую... попробую растолковать, хотя толкователь-то, признаю, не ахти. Заливаться соловьем не умею, как некоторые.

– Это кто же у нас соловьем заливается? – спросила Люба о том, о ком можно было не спрашивать.

– Да хотя бы Витольд твой. Братец-то его – Казимир молчун, а сам он речами пламенными всех заморозил. Витольд-Демосфен! Витольд-оратор. Правда, я его Витьком называю.

– Не будем о нем. – Она пожалела, что спросила.

– Согласен, не будем. Так о чем бишь я? Ах, да! О том, что толкую я плохо. Не толкую, а токую, ха-ха! Но – никуда не денешься – попробую. Ты только побудь со мной, побудь. Хочешь, сядь на скамейку, а я встану, если уж так противен тебе. Или вместе еще посидим.

Люба спросила о том, что мешало ей снова сесть с ним рядом:

– А разве вы не все сказали?

– Да мы с тобой все о личном, о томных взглядах и поцелуях, а есть вещи и поважнее. Общественные! Церковные и государственные! О них желаю потолковать. Уж ты уважь. Посиди.

Он широко смахнул полой подрясника пыль с того места, куда приглашал ее сесть. Но Люба присела лишь на краешек скамейки.

– Какие же вещи?

– Не бойся, не краденые, – пошутил он с хохотком и за этот хохоток усовестился, смутился: вышло не совсем к месту.

Люба даже не улыбнулась на эту шутку: в выражении красивого лица ничего не изменилось. Он засуетился, стал оправдываться, даже слегка заискивать:

– Я это к тому, что не из чужих книг. Сам допер. Своим умом. Я в «Записках» об этом пишу. Может, и коряво пишу, нескладно, но сейчас писателями, как и солдатами, не рождаются. Ими становятся. Вот и я, считай, стал им, писателем-то: нужда заставила. Но могу сказать и по-простому.

– Скажите по-простому. – Люба вздохнула: она стала уставать от их затянувшегося разговора.

Он это понял, торопливо собрался с мыслями.

– Ты только не перебивай. Ты же всегда умела слушать.

– Я слушаю... – сказала она глухим и отчасти враждебным голосом.

– Ну вот, ну вот... – Отец Вассиан весь вскинулся, встрепенулся. – Ты о времени когда-нибудь думала? О нашем времени? О девяностых?

– Время как время. Что о нем думать.

– А я думал и очень много. Вот смотри... – Он выставил перед ней ладонь и стал пальцем рисовать на ней круги. – Запреты на веру сняли, народ ломанулся в церкви. Ломанулся не только младенцев в купель окунать, но и грешную душу спасать. Пускай и креститься толком не умеют, и свечи ставить, и поклоны класть... И на исповеди такой бред несут, что слушать тошно. Пускай...

– Ты только к сердцу никого не допускай, – вспомнилось Любе, и она сама удивилась: зачем вспомнилось?

Отца Вассиана это слегка сбило с толку.

– Я что-нибудь не так сказал?

– Нет, нет, все так. Простите, – стала оправдываться Люба.

Но он все равно не сразу совладал с сумятицей и разбродом в мыслях. Покашлял, прочищая горло. Собрал в кулак рыжую поросль, закрывавшую ожоги на подбородке.

– Так вот я и говорю: народ ломанулся. Казалось бы, только радуйся. Празднуй победу, торжество православия. Но не очень-то празднуется, однако... не очень. Ведь это торжество лишь на виду, на поверхности, это еще не суть. Суть-то внутри, глубоко запрятана.

– И в чем же она, по-вашему?

Он слегка воодушевился, почувствовав в ее вопросе прежний пытливый интерес.

– А в том, что образовался вакуум. Вакуум, Люба, пустота, ничем не заполненное духовное пространство.

– Не понимаю я, – сказала она, и его воодушевление спало.

– Да как же ты не понимаешь. Возьмем прежние времена, нашу совдепию. Веры в Бога не было, но была другая вера – в коммунизм, партию, светлое будущее. А вместе с ней – и знамена, и хоругви, и иконописные лики, на Красной площади вывешенные, прямо по фасаду ГУМа. Все честь по чести, как и полагается. Но вот светлое будущее стало подмокать, загнивать, покрываться коростой, а там и вовсе захирело и стинуло. Никто в него больше не верит, кроме полоумных стариков и старух, бывших коммунок со стажем. А что на его месте? Вера православная, глубинная, истовая? Какое там – мелкая рябь на поверхности, а по сути – вакуум. Вакуум же при полной свободе очень опасен. У нас ведь сейчас свобода-то – что твое гуляй-поле. Ночной мятежный мотогон с включенными фарами. Грабь, воруй, убивай. Думай себе, о чем хочешь и что хочешь – никто не запретит. – Отец Вассиан подергал рыжую поросль на подбородке. – И при такой свободе в этом вакууме, Люба, скоро начнут плодиться всякие химеры, возникать миражи, причудливые видения. Кому-то привидится, что он – сатана. Кому-то – что чуть ли не сам Христос. Зачастили к нам проповедники со всего света. Один миляга Билли собирает стадионы. Вон секты уже появились, народец наш наивный и неискушенный заманивают, но это еще не самое страшное. Сектам можно и хвосты поприжать, если слишком разохотятся и обнаглеют. Куда страшнее – ереси. Ереси, Люба. Причем явятся они не в натуральном – голом – виде, свой срам прикрывая, а облаченные в роскошные одежды, с претензией на философские поиски и интеллектуальные прозрения. Это же ох как соблазнительно – искать и прозревать. Не молиться ночи напролет перед лампадкой мигающей, а развалившись в удобном кресле, искать, видите ли. А заодно и прозревать. Попутно же поругивать нашу церковь за всякие там отжившие суеверия, вековые заблуждения и предрассудки. За котлы с кипящим маслом и раскаленные сковороды: я и сам подчас ими грешу. Да и мало ли за что. Вон кружок нашей Полины Ипполитовны – там уже раздаются голоса, слышатся призывы. И Витек твой усердствует – то великодержавную деспотию лягнет, то чиновничий произвол, то казенное православие.

– Витольд умный и образованный человек, – строго и вдумчиво произнесла Люба.

– Не спорю. Пускай. Но лягаться это никому и никогда не мешало. С умом-то оно и лучше.

– К чему вы это все?.. К чему вы мне это говорите?

– А к тому... – отец Вассиан вдруг стал лицом другой, на себя непохожий – не тот, что сыпал шутками и прибаутками, а серьезный и уклончиво-многозначительный, – к тому, что Вялого и Камнереза я вызвал, чтобы горячие головы знали: управа на них есть, и не очень-то хорохорились. А то распетушатся – ничем их не остановишь. Свобода – то же море разливанное: волны, брызги, пена. Вялый же и Камнерез – как два волнолома. Волны-то набегут, в них

ударят и откатят. Муж твой хоть и Ахметович, но верит по православному и за веру стоять будет. И спуску никому не даст.

– Чуть что – и ножик к горлу приставит.

– Оставь это – ножик... На ножики вон милиция есть. Сразу на нары вновь отправят. Охота кому? Да и я с ним буду строго. Не забалует. – Отец Вассиан счел, что последнее слово им сказано, и поэтому лишь спросил: – Теперь уразумела, зачем мне Вялый и Камнерез нужны?

– Уразумела. – Люба приподнялась со скамейки, и он не стал ее удерживать.

– Ну, ступай. Витольду Адамовичу... Витьку твоему мое нижайшее почтение.

– И вам не болеть, – ответила ему Люба словами, которые от него же и слышала.

Глава восьмая

Близнецы

Казимир Адамович долгое время жил один – на самой окраине городка, где дымил кирпичный завод, зияли пустыми глазницами заброшенные бараки и тянулся пустырь, отданный под огороды, но заросший бурьяном и лебедой, поскольку ничего прочего там не росло: пустырь он и есть пустырь. Дом у Казимира Адамовича, хоть и понизу кирпичный (кирпич брали тут же рядом и за полцены), был ветхий, покосившийся, крытый проржавевшим и местами задраным от ветра, скатавшимся валиком железом, но с колоннами. Уж откуда взялись эти колонны и как их пристроили – приткнули – к фасаду, подперли ими карниз, чтоб они худо-бедно держались и не падали, никто не мог сказать (сие было неведомо).

Но каким-то чудом ведь держались, придавая дому усадебный – панский – вид, что даже позволяло Казимиру Адамовичу именовать свою усадьбу на польский манер – фольварком.

Он так и говорил, приглашая к себе гостей (что, впрочем, случалось редко): «Пожалуйте, Панове, ко мне в мой фольварк». И назначал время, обычно вечером, после восьми, чтобы гости особо не засиживались. При этом никто толком не понимал, куда это он приглашает, и ему приходилось уточнять. Вместо очков приближая к глазам лупу, чтобы получше рассмотреть собеседника (этой лупой Казимир Адамович окончательно испортил глаза), он говорил: «Ну, ко мне домой, в мою хибарку. Номера на доме нет, но вы его сразу узнаете по греческим колоннам».

Отсутствие номера шутники объясняли тем, что Казимир Адамович – за недостатком циферок (любой математик всегда без цифр, как сапожник без сапог) – употребил его в своих математических целях, для наглядности, поскольку зарабатывал тем, что репетиторствовал – готовил юных оболтусов к сдаче выпускных экзаменов. А чтобы оболтусы не скучали, развлекал (и завораживал) их тем, что легко умножал в уме трехзначные и четырехзначные числа, им же для проверки вручал арифмометр. Всегда совпадало, о чем они затем с восторгом рассказывали дома, тем самым умножая славу Казимира Адамовича как великого математика, репетитора и наставника юношества.

Старожилы помнили, что года два Казимир Адамович прожил с женой – пани Крысей, тоже математичкой, по всеобщему убеждению, основанному на том, что та, спустив на нос очки, часто дремала в кресле и сквозь дрему отгоняла мух логарифмической линейкой. Казимиру Адамовичу при этом было не до логарифмов, поскольку он яростно стирал, готовил – варил в кастрюльке похлебку из чечевицы, поливал чахлые цветы в горшках и убирался по дому.

После двух лет такой жизни супруги расстались.

Пани Крыся не стала мелочиться и отсуживать у бывшего мужа половину фольварка, поскольку ее не прельщала участь хозяйки готовой рассыпаться развалюхи. Она лишь прихватила серебряные ложки и китайский чайник с аистами, и Казимир Адамович остался один – без ложек и чайника – бобыль бобылем (к тому же из Бобылева).

Его слава репетитора потускнела после того, как он предал ее *ради чечевицной* похлебки, и ученики один за другим покинули великого математика. Целыми днями он от скуки сидел на ступенях крыльца и слонялся по двору. Развлекал себя лишь тем, что опасливо проверял на прочность античные колонны, упираясь в них рукой. Или по просьбе соседей, высунувшихся из окон, умножал в уме трехзначные и четырехзначные числа.

Но, чтобы оправдаться перед соседями за такую жизнь, Казимир Адамович не уставал повторять, что у него во Львове есть брат, и не просто брат, а близнец, с коим они похожи как две капли воды. При этом он так расхваливал своего брата, приписывая ему множество самых разных достоинств, – уж он и умный, и честный, и красивый, и невероятно добрый, что, по его

словам, все должны в него влюбиться. На это ему резонно отвечали: но ведь вы с ним как две капли, а в вас мы не влюбляемся – с чего же нам в него-то влюбляться?

Казимир Адамович обижался на это, хмурился, мрачнел, пожевывая губами подбирая слова, чтобы достойно ответить, но не находил ничего лучшего, кроме как сказать: «Подождите, сами увидите».

Из этого следовало, что брат должен вскоре приехать. При этом Казимир Адамович предавался мечтам, что вместе они приведут в порядок усадьбу, починят свернувшуюся валиком крышу, выпрямят покосившиеся колонны, изгонят праздный дух, оставленный бывшей женой, и заведут суровые мужские порядки. Может, даже замутят какую-нибудь коммерцию, учредят лицей или откроют шинок, где будут собираться польские патриоты, а пышногрудые крали – подавать пенистое (кружки накрыты белыми шапками) пльзенское пиво.

Но брат долго не приезжал, и все не упускали случая пошутить: мол, ждем и уже готовы влюбиться, но где же он, обещанный и суженый? Люба тоже так шутила и насмешничала, уверенная, что уж ей-то никакая дурь, именуемая любовью, слава богу, не грозит.

Не грозит и ее не пугает, поскольку она, однажды уже имела несчастье до помешательства влюбиться в своего одноклассника Женю Богданова (тезку ее умного и ученого брата). Поэтому теперь она научена горьким опытом и знает, что это такое – днем храбриться, с независимым видом (вздернутым носом) прохаживаться *передним*, изображать из себя гордячку и зазнайку, а по ночам от беззвучных рыданий кусать подушку и вынашивать планы повеситься или отравиться купленным в аптеке крысиным ядом.

Словом, второй раз ее, к тому же побывавшую замужем, скрывавшую следы от побоев, наловчившуюся запудривать синяки и замазывать йодом ранки, на этом не поймаешь. На мякине не проведешь.

Но дурь обладала загадочным свойством – обретать самые разные обличья, снисходя на нее в виде мудрой рассудительности, желания красивых чувств и возвышенных отношений. Эта же дурь могла истолочь в крошево любой накопленный горький опыт, словно его и не было.

Так оно и вышло на этот раз...

Когда Витольд Адамович наконец приехал и поселился у брата, Люба поначалу не чувствовала к нему ничего, кроме любопытства и стремления издала на него посмотреть (поглазеть). Она считала, что любопытство ее будет удовлетворено и на этом все благополучно закончится, но почему-то и удовлетворенное любопытство не приносило ей покоя и благополучия, не отнимало стремления – глазеть не глазеть, но каждый день его непременно видеть.

Он действительно был похож на брата, но отличался от него тем, что больше за собой следил, одевался хоть и не броско, но изысканно, не ленился красить и завивать волосы, ухаживал за ногтями – подравнивал их пилкой и даже покрывал лаком. По утрам священнодействовал за станком, как он называл бритве, имея в виду, конечно, бритвенный станок, с помощью которого творил чудеса, придавая причудливые формы усам и бородке.

Расхаживал по двору с раскрытой книгой в старинном – тисненном золотом – переплете. Погрузившись в чтение, взмахивал свободной рукой, словно дирижируя оркестром, и никогда не спотыкался, обходя разбросанные всюду обломки кирпичей, камни и доски, хотя и не смотрел себе под ноги.

Числа в уме не умножал, но зато помнил наизусть все исторические даты, чем наповал сразил Любу, которая по истории отвечала всегда хорошо и могла бы получать четверки или даже пятерки, но из-за незнания дат ей снижали отметки до тройки.

Об этом она поведала ему, когда однажды набралась смелости и с ним заговорила, чем Витольд Адамович был очень польщен, поскольку привык ценить женское внимание. Он слегка зарделся, с подобострастным поклоном поцеловал ей руку и охотно поддержал разговор – стал сыпать датами и ссылаться на великие исторические события, якобы имевшие для него такое

же значение, как сегодняшняя встреча с ней. Люба смутилась, а затем растерялась и даже оторопела, поскольку не могла ответить тем же, и пожаловалась ему на плохую память.

Он снисходительно улыбнулся и сказал, что главное не память, а формула, схема, позволяющая держать в голове множество дат.

– Если пани пожелает, я открою ей эту формулу, чтобы она могла знать то, что не обязательно помнить.

– Как это? – спросила она с недоверчивым вызовом.

– А вот так, – ответил он и снова поцеловал ей руку, словно в этом и заключалась если не сама формула, то предварительные условия ее постижения.

Глава девятая

Что-то не договаривают

Вернувшись от отца Вассиана, Люба застала братьев за церемонной, дотошной и благочестиво-возвышенной готовкой ужина. С попутными заходами в теорию, точным соблюдением рецептуры, позаимствованной у соседей, они жарили яичницу. Яичница предназначалась явно для нее, что Любу до умиления растрогало: вот старались, заботились, изнывали от усердия, лишь бы ее, уставшую, усадить, накормить, приголубить и осчастливить.

Уж она знала, что для себя (хоть и для себя любимых) они заниматься готовкой не стали бы – выпили бы водки по большой граненой рюмке, закусили моченым яблоком и завалились спать, как не раз бывало в ее отсутствие. Да и спали, не раздеваясь, на дырявых тюфяках, набитых прелой соломой, отчего утром приходилось счищать с себя налипшие желтые струппя, греть утюг, пробуя его обмоченным в слюне пальцем, и доставать из-за шкафа гладильную доску, чтобы не выглядеть помятыми и оставаться джентльменами, (хоть и из медвежьего угла).

Ни простыней, ни одеял, ни подушек с наволочками у них поначалу не было – это уж она озаботилась и принесла с собой, – можно сказать как приданое. Принесла вместе с другими признаками уюта: стопкой тарелок, фарфоровой супницей, таким же фарфоровым половником (остатки былой роскоши – разбитого сервиза), китайским чайником с орхидеями – взамен унесенного пани Крысей и прочими мелочами.

Это их *прослезило* (на таком русском языке они подчас изъяснялись). И с тех пор братья-близнецы стали создавать для нее роскошную жизнь, окружать ее польским шиком – таким как рюмка ликера амаретто, коробка с розовой пастилой или яичница к ужину.

Все бы хорошо, но перед Пасхой, заранее, Люба обязывала себя поститься – особенно в первую неделю и на Страстной. И вот как раз Страстная, а ей на сковородке преподносят польский шик из пяти яиц, вспузырившихся оттого, что под них затекло растопленное сало от ветчины (уж откуда ее взяли, ветчину-то).

Ну как тут быть прихожанке отца Вассиана? Как не оплошать и не соблазниться?

Люба не стала говорить им, что ей этого нельзя, того нельзя, пятого, десятого – не стала, чтобы не вредничать и не обижать братьев своим отказом. И взяла на себя тяжкий грех – оскоромиться на Страстной седмице.

Впрочем, не такой уж тяжкий, поскольку, в сущности, при такой беспокойной жизни ее можно приравнять к путешествующим (у нее свои путешествия), тем же позволены послабления – разрешено нарушать пост. Им это прощается из-за того, что в дороге выбирать не приходится, что вкушать... не те условия... и все прочее.

Вот и ей авось простится за то, что два дня наводила порядок в холостяцкой берлоге на окраине перед пустырем: таскала ведрами воду, чистила, драила, выбивала пыль, выносила мешками мусор.

Да и какая она теперь прихожанка отца Вассиана после разговора с ним на лавочке, признаний, откровений и упреков! Какая преданная ученица! Какая послушница! Скорее, напротив: ослушница, предательница и ухажанка. И посты ей – в осуждение, поскольку грешна, недостойна, не заслужила.

Так упрекала и казнила себя Люба, утоляя голод польским шиком из пяти яиц. Оба брата зачарованно и растроганно на нее смотрели, сами, наверное, голодные (животы подвело), но не подававшие вида, смиренно терпевшие – оба хоть и атеисты, но тоже своего рода постники.

А может, и не атеисты вовсе? Что-то скрывают, не договаривают, хранят ото всех в тайне? Во всяком случае, так ей почему-то иногда казалось – по случайно оброненным словечкам, присказкам, якобы шуткам-прибауткам. По тому, к примеру, что любимый сын Авраама для

них не Исаак, а какой-то неведомый и прекрасный Исмаил, которого они так чтут, часто и благоговейно поминают...

Глава десятая

Не ходи на пристань

Люба ждала расспросов, как ее принял отец Вассиан, о чем с ним толковали, но вместо этого Витольд Адамович сказал ей, переглянувшись с братом, посвященным в его планы и намерения:

– Я пойду на пристань встречать твоего Вялого. Я решил.

Она чуть не подавилась и вместо соли взяла щепотку сахара.

– Как это ты решил? А я?

– Ты останешься дома... – произнес он и добавил, чтобы не возникало сомнений в том, где находится ее нынешний дом: – Останешься здесь...

– И что я буду делать?

– В дурака играть с Казимиром, пока я не вернусь.

Казимир Адамович кивнул и тем самым авторитетно заверил, что ни о чем так не мечтал, как о счастливом случае сыграть с ней в дурака.

– Да я и так дура – какого еще дурака!

– Ты самая умная, послушная и рассудительная, – тихо и внушительно произнес Витольд Адамович. – Причем здесь дура?.. Не следует так себя называть. Это роняет твою честь.

– Дура, потому что боюсь за тебя. Буду страшно волноваться. Чего доброго, завою, как баба. Он может убить тебя.

– Не посмеет. Я – пан. – Витольд Адамович озаботился тем, чтобы все в нем: и горделивая осанка, и поднятый подбородок, и завитые усы с бородкой, и надменный взгляд – соответствовали облику пана.

– Ты из тех, кто или пан, или пропал. Вот и ты пропадешь.

– Не пропаду. Я буду говорить с ним как мужчина.

– У него один разговор – ножик в кармане.

– У меня в кармане тоже кое-что имеется... – Он многозначительно поднял брови и достал из кармана завернутый в надушенный носовой платок увесистый предмет.

– Что это? Покажи. – Люба протянула руку за предметом, но Витольд Адамович держал его так, чтобы он был вне пределов ее досягаемости.

Тем не менее Люба догадалась, о каком предмете шла речь.

– Умоляю, милый, не бери, не бери с собой! Послушай меня! Не бери!

Он ногтем мизинца убрал с ресницы прилипшую соринку.

– Да это всего лишь пугач. Пуколка. В воздух стрелять. Мальчишек гонять, ворующих яблоки. Горохом заряжен.

– Врешь!

Он округлил глаза, услышав от нее такое обвинение.

– Драга пани, я, может быть, чудака и человек со странностями...

– К тому же ты психопат и неврастеник, – авторитетно добавил Казимир Адамович, чтобы ничего не было упущено из неоспоримых достоинств любимого брата.

– Благодарю за напоминание. – Витольд благосклонно кивнул в его сторону, тем самым подтверждая свою искреннюю признательность. – Итак, я человек со странностями, психопат и неврастеник, как здесь настаивают, но я никогда не врал. Брат выпросил этот пугач у одного из своих учеников. Выпросил на время, разумеется. Подтверди, Казимир. Засвидетельствуй.

– Подтверждаю. И свидетельствую. – Казимир Адамович склонил голову так, что не осталось сомнений: сказанное о нем не могло быть ложью. – Это пугач Яна Ольшанского.

Он погладил подбородок, оголившийся после того, как Казимир Адамович сбрил усы и бородку, чтобы хоть немного отличаться от брата.

Люба застыдилась ненароком вырвавшегося у нее обвинения.

– Прости, я же тебя люблю...

– Даже при том, что ты меня любишь, никогда так со мной не говори. Это оскорбительно.

– А ты не называй меня пани. Твои ясновельможные пани в Варшаве, а здесь у тебя я, Любка Прохорова, жена осужденного, шалава, дрянь, курва, чумичка. – У нее затряслись плечи от беззвучных рыданий.

– Что с тобой, ясновельможная пани? – Он нарочно назвал ее так, словно это обращение совершенно отличалось от тех, которые ей особенно не нравились.

– Я за тебя очень боюсь. Мне страшно. Не ходи на пристань.

– Кто-то же должен быть мужчиной. Что же мне за твою юбку прятаться?

– Тогда я завою. Я сейчас завою. Как баба.

– Лучше уж помолись обо мне, как тебя учил твой ксендз – отец Вассиан. Ведь ты же верующая. Может быть, твой Бог и мне поможет. Солнце одинаково восходит над верующими и неверующими, – сказал Витольд Адамович, но так, словно при этом чего-то недоговаривал.

– Не пойму я тебя, веришь ты или не веришь... А если веришь, то в кого...

– И не надо тебе понимать. Крепче спать будешь, – сказал Витольд Адамович и с удивлением обнаружил, что одновременно с ним это же произнес его брат:

– ... крепче спать будешь.

Они переглянулись и рассмеялись такому совпадению. Но Любе смеяться вовсе не хотелось.

– Отец Вассиан мне больше не учитель. Не ксендз, – сказала она тихо.

– Поссорились? – Витольд Адамович учтиво, с вежливым вопросом заглянул ей в лицо.

– Нет, просто объяснились.

– А-а-а. – Он не то чтобы понял, в чем суть объяснения, но уважительно отнесся к тому, что люди находят время, чтобы объясняться. – Ну, и каков результат?

– А таков, что нам с ним теперь вместе хлеб не есть.

– Что означает сие иносказание? Разрыв всех отношений? Бог умер? – Витольд Адамович тронул расческой пышные (чудесный станок придал им с утра такие формы) усы, уподоблявшие его самому Ницше, могильщику Бога.

– Об этом ты спросишь у моего брата Евгения. Он большой знаток по части иносказаний. Брат тоже приедет на Пасху – как и мой бывший муж. Я ему звонила и все рассказала.

– Но ведь я здесь. Я с тобой. Разве этого мало?

– Ты не здешний. Ты здесь всем чужой, а он свой. И к тому же все-таки брат.

– Ты о нем так говоришь, как будто он непобедимый рыцарь на коне и в доспехах. Казимир, как тебе это нравится?

Казимир Адамович обозначил бессильным жестом, что нравится, не нравится, а он вынужден смириться с тем, как сестра отзывается о брате.

Витольд Адамович на это саркастически заметил:

– Значит, Бог все-таки жив, хотя и в ином, так сказать, лице. – Он встал, тем самым показывая, что произнесенная фраза дает ему повод закончить этот не слишком приятный и содержательный разговор.

Глава одиннадцатая

Криминальный батюшка

– Отец Вассиан, выдь-ка!

Высмотрев сквозь прозрачную кисею оконной занавески, кто там его окликнул из-за высокого забора, отец Вассиан не стал звать гостя в дом, а сам вышел к нему. Вышел неторопливо, с достоинством, приличествующим сану, хотя калитку поначалу не открыл – остался по эту сторону, тогда как гость поджидал его с той стороны и тоже не спешил приблизиться.

Не спешил и высматривал (брал в кадр) отца Вассиана либо поверху, над забором, либо снизу, между неплотно подогнанным штакетником. Был маловат ростом, но жилист, смугляв, с чернявой – местами лысеющей – головой и оттопыренными ушами, алыми от пронизывающего их солнца. В правом ухе висела серьга. На крепкой, загорелой шее в расстегнутом вороте красной рубахи блестела цепь.

Солнце било ему в глаза из-за макушек покрытых первой зеленью акаций, посаженных вдоль забора, но он не закрывался ладонью и даже не шурился.

– Ты, Плюгавый? – Отец Вассиан тоже взял его в кадр.

– Ну, я, я. – Тот склонился, выбирая место, куда шагнуть, чтобы не испачкать сапог. – Не зовите меня так.

– Все зовут. Вот и я по привычке. Прости, если обидел.

– У меня другая кликуха есть – Настырный.

– Буду знать. Сапожки на тебе ладные. С кого снял?

– Вот еще – скажете...

– Ладно, чего явился? Сам или кто послал?

– Сермяжный послал. По случаю Пасхи. Поздравляет вас. Здравия желает и всяких благ.

Ну, и я тоже. Присоединяюсь.

– Кто ж так поздравляет. Надо как полагается: Христос воскрес. Не учил я вас, что ли? Тот понял ошибку и послушно повторил:

– Христос воскрес.

– Воистину воскрес. Теперь похристосуемся. Только я к тебе выйду. Через калитку нельзя.

За калиткой они похристосовались – трижды расцеловались. При этом отец Вассиан уловил запах дрянного одеколona, смешанный с запашком застарелой грязи за ушами Настырного, и укололся о недобритую щетину.

– Вот и почеломкались с праздничком. На душе легче стало. – Тот просиял от гордости.

– Помылся бы ради Пасхи... – Отец Вассиан опустил глаза.

Настырный аж весь взвился от желания оправдаться.

– Не люблю я этого, не люблю... У меня от мытья чесотка. Я ж из цыган, из табора. Меня не учили...

– А коня украсть можешь? Учили?

– Тю-ю-ю коня... Целый табун могу. Ни одна подкова не звякнет.

– Нашел чем хвастать. Почему мать хворую в больницу не кладешь?

– Она у колдуньи лечится. Заговорами, – брякнул Настырный и с опозданием спохватился, выругался сквозь зубы, хлопнул себя по лбу. – Не, не... соврал я. Врач к ней ходит.

Отец Вассиан посуровел и помрачнел.

– Али не заказывал я вам к колдуньям ходить? Али не вразумлял вас, иродов?

– Вразумляли, вразумляли, – поспешил согласиться Настырный и, чтобы загладить вину, засуетился с подарками. – Вот вам от Сермяжного. – Он достал из-за пазухи крашеное яичко

и кусок кулича, завернутый в обрывок газеты, из каких старухи обычно делают кульки для семечек.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.